Морок В. Е

ИНОПЛАНЕТЯНИН



Морок В.Е

Инопланетянин

«Автор»
2026

Морок В.Е

Инопланетянин / Морок В.Е — «Автор», 2026

Маленький город на краю леса, где закрыли завод, а кинотеатр превратили в склад. Где живёт фельдшер Нина, потерявшая мужа и оглохшая от горя. Где собака не лает полгода, а по ночам над лесом гудит что-то необъяснимое.В октябре Нина находит в куче тёплых опилок существо с другой стороны неба — длинное, светящееся, с глазами-ставнями. Оно умеет только одно: слушать. И этого достаточно, чтобы всё изменилось.«Инопланитянин» — книга о тишине, которая не пустая, а полная. О любви, которая умеет отпускать. О маленьком городе, который однажды поднимется весь, чтобы защитить того, кто не просил защиты.Это история о том, как важно вовремя сказать главное. О женщине, которая полгода не слышала, как лает собственная собака. О мужчине, который сорок пять лет молчал и дождался. О мальчике, который верил в то, чего не видят взрослые, и оказался прав. О существе, которое умело только слушать, но этого хватило, чтобы изменить всё.Для тех, кто умеет слушать. И для тех, кто ещё не научился.

© Морок В.Е, 2026
© Автор, 2026

Содержание

Введение 5
Часть первая. Находка 6
Глава 1. Берта 6
Глава 2. Тачка 10
Глава 3. Амбулатория 13
Глава 4. Дождь 16
Глава 5. Звуки 19
Глава 6. Валентина 22
Глава 7. Свет в окне 26
Глава 8. Свист 30
Часть вторая. Зима 33
Глава 9. Комиссия 33
Глава 10. Письмо 37
Конец ознакомительного фрагмента. 39

Инопланетянин

Введение

Есть места, где время идёт иначе. Не быстрее и не медленнее — просто по-другому, как вода в заводи, которая кажется стоячей, а на самом деле движется, только очень глубоко. В таких местах люди рано ложатся спать и рано встают, сверяют часы по заводскому гудку, здороваются со всеми, кого встречают, и знают друг про друга больше, чем принято говорить вслух.

Эта книга — о таком месте. О маленьком городе на краю леса, где закрыли завод, а кинотеатр превратили в склад, где осталось чуть больше двух тысяч жителей и две тысячи историй, которые никто не удосужился записать. Оно называется Староречье, и его нет на картах. Но оно есть — в Вологодской области, в Тверской, в Архангельской, в любом краю, где река делает петлю, а за последними домами сразу начинается лес.

Это книга о тишине. Не о той, что звенит в ушах от одиночества, а о другой — полной, глубокой, как дом, в котором кто-то есть. О тишине, которую умеют слушать собаки, старики и дети, но разучились слушать взрослые, потому что у взрослых всегда слишком много дел.

И ещё это книга о том, что иногда самое важное в жизни случается не с нами, а рядом с нами — и мы этого не замечаем, пока не станет поздно. О женщине, которая полгода не слышала, как лает собственная собака, потому что оглохла от горя. О мужчине, который сорок пять лет молчал и всё-таки дождался. О мальчике, который верил в то, чего не видят взрослые, и оказался прав. О старухе, которая в семьдесят один год подняла весь город одной кочергой и одним словом. И о существе с другой стороны неба, которое умело только одно: слушать. Но этого оказалось достаточно.

Эта история началась в октябре, в куче тёплых опилок под старой эстакадой, и закончилась в апреле, когда на реке пошёл лёд. Между этими двумя датами уместилась целая зима — долгая, снежная, с метелями, оттепелями и распутицей. Зима, за которую один маленький город научился молчать вместе и говорить шёпотом. Зима, за которую несколько человек поняли, что любовь — это не только держать, но и отпускать, и что порядок этих двух действий не так важен, как кажется.

Я не знаю, поверите ли вы в то, что здесь описано. Но я знаю, что где-то это было. Может быть, не совсем так, может быть, совсем не так, — но было. Потому что собаки не лгут, дети не ошибаются, а старики не выдумывают. А ещё потому, что в каждом городе, даже самом маленьком, есть человек, который слушает. И если он слушает достаточно долго, ему однажды отвечают.

Эта книга — для тех, кто умеет слушать.

И для тех, кто ещё не научился.

Часть первая. Находка

Глава 1. Берта

Собака не лаяла полгода.

Нина заметила это не сразу. Сначала в доме просто стало тихо: на крыльце, во дворе, у калитки, где раньше с шести утра стучали когти и шуршала по доскам подстилка. Потом тишина превратилась в привычку, как привыкают к зубу, который давно вырвали, а язык всё равно ходит к пустому месту.

Берта лежала в прихожей, на коврике Павла, и клала морду на его кирзовые сапоги. Смотрела она не на Нину, а на дверь. Тринадцать лет назад Павел принёс её из леса за пазухой, мокрую, с одним целым ухом, и она так и не смогла поверить до конца, что хозяин способен просто не вернуться.

— Пойдём, — говорила Нина по вечерам. — Пойдём погуляем, глупая.

Берта поднимала глаза, вздыхала и опускала их обратно.

В ночь на третье октября Нина не спала. Она вообще давно спала плохо, а днём навёрстывала урывками, как человек, который ворует сам у себя. Сидела на кухне при одной настольной лампе и разгадывала кроссворд из тех, что продают в киоске у автостанции. Слова в нём были простые, как из детства: «ночная птица, пять букв», «приток Волги, три буквы». Она вписывала их карандашом, стирала и вписывала снова.

Дом стоял на Заречной, последней улице Староречья: дальше начинался только лес. Павел поставил его сам, двадцать восемь лет назад, из бруса, который купил по дешёвке у комбината, когда комбинат ещё что-то продавал. Тогда в городке жили четыре тысячи человек, работали два магазина и кинотеатр, а над крышами каждое утро гудел лесопильный завод, по гудку которого сверяли часы. Теперь жителей осталось чуть больше двух тысяч, кинотеатр стал складом, а завод два года назад закрыли без всякого гудка: в пятницу рабочие пришли на смену, а в понедельник ворота оказались заперты на цепь.

Староречье не умирало громко. Оно просто убавляло звук, как радио, которое кто-то день за днём поворачивает на один щелчок тише.

На стене над столом тикали ходики. Кукушку из них Павел вынул ещё лет десять назад: говорил, что она каркает не вовремя и пугает Берту. Остался только ход, сухой и ровный, с тихим щелчком на каждом шестом ударе, где что-то давно стёрлось. Нина слушала этот щелчок так долго, что перестала замечать, как слушает.

Без десяти три Берта встала.

Нина услышала это сначала спиной: цокот когтей по полу, непривычный, торопливый. Она обернулась. Собака стояла в дверях кухни, вытянутая, как струна, и смотрела не на хозяйку, а куда-то сквозь стену, на северо-восток, в сторону реки.

— Ты чего? — спросила Нина.

Берта коротко, тонко взвизгнула. Это был первый звук, который Нина услышала от неё за полгода.

Сердце у Нины ударило сильно и невпопад, как бывает у людей, которым неожиданно сообщили хорошую новость после долгой плохой. Она встала так резко, что стул стукнулся о печь. Собака уже была у входной двери и скребла её лапой. Не царапала, как делают, когда просятся по нужде, а именно скребла, настойчиво и размеренно, как зовут.

— Сейчас. Подожди, сейчас.

Нина сунула ноги в резиновые сапоги, накинула поверх свитера куртку Павла, которая висела на крючке и до сих пор пахла дымом и смолой, взяла с полки его большой аккумулятор-

ный фонарь. Руки двигались сами. Едва она открыла дверь, Берта шагнула в темноту и пошла по Заречной прочь от дома: не убегая, но и не оглядываясь, останавливаясь на каждом третьем шаге, чтобы подождать.

Ночь была холодная и ясная. Над рекой уже собирался туман, ложился в низинах молочными лужами, и Берта то уходила в него по грудь, то выныривала снова: светлая спина, одно стоячее ухо, закрученный в кольцо хвост. Нина шла следом, держа фонарь опущенным, чтобы не светить в окна, и думала о глупостях. О том, что надо будет утром достать из морозилки мозговую кость. О том, что у соседки Валентины опять горит свет на кухне, и что, если Валентина её заметит, то весь городок узнает об этом к девяти утра.

И о том, что три ночи назад над лесом что-то прогудело.

Не самолёт. Самолёты Староречье слышало, они проходили высоко и звучали иначе, с долгим тающим шелестом. А это был низкий, плотный гул, который шёл не сверху, а как будто из самой земли. В домах задрожали стёкла, в буфете у Нины тихо звякнули рюмки. Берта тогда подняла голову, посмотрела в стену и снова опустила. Утром весь городок обсуждал случившееся на крыльце магазина. Одни говорили: военные, звуковой барьер. Другие: метеорит. Валентина Игнатьевна считала, что где-то рванул газ, и на всякий случай перекрестилась.

Нина тогда не думала об этом вовсе. А сейчас, шагая за собакой по пустой дороге, вдруг подумала: а ведь тот гул шёл как раз оттуда, куда вела её собака.

Лесопильный комбинат начинался с бетонного забора, поверх которого когда-то тянули колючую проволоку; проволоку давно срезали и сдали на металлолом. Ворота были закрыты на цепь с ржавым замком, но сбоку, где забор разошёлся по шву, зиял проём, в который свободно проходил человек. Берта прошла в него, не замедлив шага. Нина протиснулась следом, оцарапав рукав.

Она не была здесь два года. Павел начинал в этих стенах учётчиком, ещё до того, как ушёл в лесники, и в первые годы после свадьбы Нина приносила ему сюда обед в эмалированной кастрюльке, обмотанной полотенцем. Тогда стоял такой вой пил, что приходилось кричать в самое ухо. Теперь стояла тишина, густая, как вода в колодце. Штабеля досок почернели под дождями. Большие ленточные пилорамы застыли в цеху, как скелеты каких-то допотопных животных. Фонарь выхватывал из темноты то ржавую цепь, то лужу с радужной плёнкой, то надпись мелом на стене, которую никто так и не стёр: «Смена 3. Не курить».

Берта вела её к эстакаде, длинной крытой галерее, по которой раньше бревно за бревном шло в цех. Под дощатым настилом по краям лежали старые кучи опилок и коры. Нина знала, что такие кучи не остывают годами: внутри они тихо тлеют и греют, как свежий хлеб. Осенью к ним сходились кошки и бродячие собаки со всего города.

Берта дошла до самой большой кучи, обошла её, ткнулась носом, а потом легла рядом и положила морду на лапы. Точно так, как лежала дома, в прихожей. Только смотрела теперь не на дверь, а на то, что было в куче.

— Что там у тебя? — шёпотом спросила Нина.

Она повела лучом и сначала ничего не увидела: комья коры, обрывок мешковины, тёмная вмятина. А потом, там, где луч скользнул вбок, в самой глубине опилок что-то мигнуло зеленоватым.

Нина выключила фонарь.

Этот свет она знала. Давно, ещё до свадьбы, Павел водил её в ольшаник после дождя и показывал гнилушки: трухлявые пни, которые по ночам светятся холодным зелёным светом, не греют и не ярче светлячка. «Лесной огонь, — говорил он. — Старики думали, что это души». Они сидели на корточках перед пнём и молчали, и она потом всю жизнь считала, что именно тогда он решил на ней жениться, а она на нём.

Но гнилушки не мигают. Этот свет разгорался и гас, медленно, с долгим промежутком: вдох, выдох, вдох. И шёл он не из пня.

Нина снова включила фонарь, выставила его перед собой, как щит, и подошла.

Существо лежало на боку, подтянув колени к груди, как лежат дети во сне или старики, которым холодно. Размером оно было с десятилетнего мальчика, но на этом сходство кончалось. Руки и ноги были слишком длинными, суставов на каждой оказалось на один-два больше, чем положено, и сложены они были тесно, один к другому, как складывают зонт или ножки мольберта. Кожа гладкая, влажная, серовато-бежевая, с тонкими тёмными поперечными чёрточками, как у берёзовой коры. Вытянутую голову без волос и ушей венчал чуть заострённый затылок. На лице, там, где полагалось быть глазам, виднелись две неглубокие впадины, плотно закрытые тонкими створками. Рта Нина не нашла. Зато у основания шеи шёл ряд узких щелей, и они едва заметно раздвигались и смыкались.

А вдоль спины, под кожей, жил свет. Вдох, и он поднимался от поясницы к затылку бледной, больной зеленью. Выдох, и он гас почти совсем, оставляя слабое свечение, какое бывает у ночника, когда садятся батарейки.

Нина стояла и не могла пошевелиться. Двадцать шесть лет она работала фельдшером. Она видела людей, которых вытаскивали из-под электричек, и людей, которые умирали у неё на руках от обыкновенной пневмонии, и научилась в такие минуты делать две вещи: ровно дышать и не думать. Она вдохнула и выдохнула. И подумала только одно: оно умирает.

Потом привычка, въевшаяся глубже страха, опустила её на колени.

— Ну тихо, — сказала она. — Тихо, тихо. Я рядом.

Так она говорила всем: пьяным, детям, старухам, которых везли в район. Слова работали сами по себе, как рука на плече.

Пульс она искать не стала: у него не было ни запястья, ни шеи в привычном смысле. Просто положила ладонь на грудь. Кожа была холодной и мокрой, как речной камень, но под ладонью, глубоко, что-то тихо и неровно повернулось. Раз. Пауза. И ещё раз. Словно в доме, где давно никого нет, в дальней комнате кто-то осторожно переставил стул.

Нина убрала руку и достала телефон. Связь здесь ловила одной палочкой, но этого хватило бы. Сто двенадцать. Или Серёже Румянцеву, участковому: он в такие ночи никогда не спит. Или в район, куда-нибудь, где знают, что делать с таким. Кто-то должен знать. Взрослые люди, у которых для этого есть документы и машины.

Большой палец завис над экраном.

Берта подняла голову и посмотрела на неё. Не просила и не торопила. Просто смотрела тем самым взглядом, которым полгода смотрела на дверь.

Позже, много раз, Нина будет возвращаться к этой секунде и не сумеет объяснить, почему сделала то, что сделала. Скажет себе: потому что боялась, что его заберут и разберут на части. Скажет: потому что не хотела, чтобы оно умерло на чужом столе. Скажет даже: потому что ей пятьдесят два и больше некому решать за неё. Но все эти объяснения будут придуманы потом. А в тот миг она просто убрала телефон в карман.

— Ладно, — сказала она тихо. — Ладно. Держись.

Она сняла куртку Павла и расстелила её на опилках рядом с существом. Подсунула руки под колени и под спину, осторожно, как поднимают тех, у кого может быть сломан позвоночник, и перекатила его на куртку. Оно оказалось лёгким, много легче, чем она ожидала, как вязанка сухих веток. Голова упала ей на плечо, и щели на шее выдохнули ей в шею тонкую тёплую сырую струйку воздуха. Нина завернула его в куртку целиком, оставив снаружи только затылок, и прижала к груди.

И тогда свет вдоль его спины, прежде бледный и больной, дрогнул и стал чуть теплее. Как будто отвечал на тепло её тела.

Берта поднялась. Хвост её впервые за полгода стоял колечком, как в молодости. Она пошла вперёд, к пролому в заборе, и Нина пошла за ней, неся на руках свою невозможную, страшную ношу и чувствуя, как к её груди, толчок за толчком, приникает чужое сердце.

Глава 2. Тачка

У пролома в заборе стояла тачка. Нина заметила её, только когда чуть не споткнулась о ручку: старая строительная тачка с одним колесом, ржавая, с вмятиной в борту и остатками опилок на дне. Её, должно быть, оставил последний сторож, дядя Мотя, которого сократили вместе со всеми, а забрать с собой он не успел или не захотел.

— Ну, спасибо, — сказала Нина неизвестно кому.

Она постелила на дно куртку Павла, уложила в неё свою ношу и подоткнула полы, как подтыкают одеяло спящему ребёнку. Потом взялась за ручки. Колесо было полуспущено, ось не смазана, и уже первый оборот сопровождался таким визгом, что Нина присела, будто её застали за кражей.

Визг ушёл в туман и не вернулся.

— Тихо ты, — шепнула она тачке.

Она придумала катить её так, чтобы колесо едва касалось земли, а основной вес держали руки. Это было тяжело и всё равно не помогало: колесо цеплялось за каждый камешек и протяжно жаловалось. Через сто шагов Нина остановилась, прижала ладони к пояснице и стояла, пока не перестало темнеть в глазах. Ей было пятьдесят два года. В последний раз она таскала что-нибудь тяжёлое, когда Павел был жив и мог взять другой конец.

Свет под курткой не погас. Он по-прежнему поднимался и опадал, и Нина, сама того не замечая, начала считать, как считала всю жизнь над чужими кроватями: раз, два, три, четыре. Девять в минуту. Если это вообще можно было назвать ударами.

Дорога вдоль реки звалась Береговой, хотя берега с неё никто и никогда не видел. Туман стал плотнее. Фонарь Нина убрала в карман, и теперь ей служила ориентиром только белая спина Берты, плывущая впереди.

Странным было другое. Староречье по ночам всегда переговаривалось собаками: стоило пройти по улице чужому, как лай передавался от двора к двору, от цепи к цепи, будто разносили почту. Сейчас не лаял никто. За заборами стояла вязкая, внимательная тишина, и Нине вдруг показалось, что псы лежат каждый у своей будки, подняв головы, слушают, как мимо проезжает что-то невидимое, и решают промолчать.

— Только не ты, — сказала она Берте. — Ты у меня умная.

Берта оглянулась и пошла дальше.

На углу, где Береговая выходила на Заречную, Нина услышала мотор.

Она узнала его раньше, чем увидела фары, потому что этот мотор знала вся улица: дребезжащая коробка передач, хриплый кашель на холостых, тяжёлое бурчание на подъёме. УАЗ участкового Румянцева. Серёжа Румянцев, одноклассник, который в десятом классе списывал у неё химию, а теперь по ночам объезжал город, потому что, как он однажды сказал, всё равно не спится.

Фары вывернули из-за поворота, когда до угла оставалось шагов двадцать. Бежать было поздно. Нина сделала единственное, что успела: свернула тачку в кювет, в заросли бузины и крапивы у забора заброшенного дома Ершовых, упала на колени рядом и накрыла собой угол куртки, из-под которого просачивался зеленоватый свет.

Свет бил ей в ладони сквозь пальцы. Он был тёплым.

Машина остановилась. Хлопнула дверца.

— Берта? — сказал голос Серёжи. — Ты чего тут одна?

Нина видела его сквозь ветки: высокий, сутулый, в расстёгнутой форменной куртке, без фуражки. Он присел перед собакой на корточки, и Берта, вот ведь предательница, не отошла, а позволила потрепать себя за то самое надорванное ухо, к которому раньше допускала только Павла.

— Хозяйка где? Дома? — Он поднял голову и посмотрел вдоль Заречной.

В самом конце улицы, в последнем доме, горело кухонное окно. Нина оставила лампу, и теперь эта лампа смотрела на улицу, как свидетель.

Серёжа долго стоял и глядел на это окно. Нина считала: двадцать, тридцать. У неё затекли колени. Пахло мокрой крапивой и опилками, и от этого сочетания ей почему-то хотелось плакать.

Если он сейчас пойдёт к дому, подумала она, он постучит. Постучит и будет стоять на крыльце, потому что он такой, терпеливый. А потом обойдёт дом. А потом...

— Ну ладно, — сказал он, обращаясь не то к собаке, не то к самому себе. — Не моё дело.

Он ещё раз потрепал Берту, поднялся и вернулся в машину. УАЗ тронулся, медленно проехал по Заречной до самого конца, остановился у калитки Нины и простоял там минуту с работающим мотором. Потом развернулся. На выезде фары прошлись по кювету, по бузине, по ржавому боку тачки, и Нина зажмурилась. Когда она открыла глаза, красные огни уже уходили в туман.

Она ещё долго сидела в крапиве. Руки дрожали. Она вытерла их о джинсы и обнаружила, что ладони, там, где сквозь пальцы пробивался свет, покрыты тончайшей, как пыльца, зеленоватой пылью. Пыль слабо мерцала и гасла прямо на глазах.

— Видишь, — сказала она Берте, — я теперь ещё и прячусь. От Серёжи.

Берта подошла и ткнулась носом ей в плечо.

По улице Нина больше не пошла. Между забором Ершовых и соседним участком тянулась тропа, по которой ещё детьми бегали к огородам, и Нина, ругая себя и тачку, повела её по этой тропе, задевая колесом о корни. Тропа вывела к задней калитке. Здесь, в самом дальнем углу участка, между старой яблоней и плетнём, стояла баня.

Павел поставил её раньше, чем дом. Первую зиму они жили в бане: спали на полке, готовили на печке-каменке, а он по вечерам строил стены будущего дома и стучал топором, пока не стемнеет. Нина любила эту баню ещё и поэтому. Маленькая, чёрная от времени, с низкой дверью и одним окошком, она знала про их жизнь больше, чем весь остальной дом.

Последний раз её топили в марте.

Внутри пахло сухим берёзовым листом и холодной золой. Нина зажгла лампочку в предбаннике, потом, подумав, погасила и зажгла вместо неё маленький походный фонарь, который не давал света наружу. Занесла существо в парилку, осторожно, как заносят больного, и положила на нижнюю полку. Сверху набросила тулуп Павла, тяжёлый, овчинный, висевший в предбаннике на гвозде. Под потолком темнел последний Павлов веник, ломкий и сухой.

Потом сходила в дом, отключила дежурный свет на кухне, нашла в чулане масляный радиатор и удлинитель, размотала через весь огород тридцатиметровый чёрный шнур, и через десять минут в бане загудело и потеплело. Не жарко, шестнадцать или семнадцать градусов. Нине казалось, что больше этому гостю нельзя.

Почему она так решила, она не знала. Знание пришло с кончиков пальцев, как приходит иногда на дежурстве, когда не можешь объяснить, откуда известно, что больной нехорош.

Она сделала всё, что умела. Принесла из дома градусник и после долгих колебаний сунула его существу под мышку, там, где у человека была бы подмышка. Через положенные десять минут посмотрела: тридцать один и девять. Нина разглядывала цифру и вдруг поняла, что ни одна из знакомых ей цифр здесь ничего не значит. Может быть, для него это была лихорадка. Может быть, нормальная температура. Она положила градусник в карман.

Потом села на лавку у стены и стала смотреть.

Свет под тулупом шёл ровными волнами. Вдох: поднимался от поясницы к затылку, и в эти секунды Нина могла различить в нём оттенки, зелёный, золотистый у самого основания, как у сентябрьского листа. Выдох: он убегал обратно. Щели у основания шеи раскрывались и

закрывались, и от них шёл едва слышный звук, шорох, похожий на то, как ветер перебирает сухую траву.

Берта легла поперёк порога, как и положено сторожевой собаке, и положила голову на лапы.

— Я не знаю, что тебе нужно, — тихо сказала Нина. — Не знаю, ты хочешь пить или есть, холодно тебе или жарко. Я знаю только, что тепло, вода и тишина ещё никому не повредили.

Слова упали в тесную баню и остались там. Нина вдруг поняла, что давным-давно не говорила вслух столько подряд. Дома она молчала. На работе говорила дежурное: «Раздевайтесь», «Где болит», «Давление сто тридцать на восемьдесят». А теперь сидела в чёрной бане в пять утра и рассказывала чужому существу, что тепло ещё никому не повредило, и ей не было ни стыдно, ни смешно.

За окошком посерело. Сначала стали видны ветки яблони, потом плетень, потом ржавая тачка, брошенная посреди огорода: Нина забыла вернуть её на место и теперь смотрела на неё с недоумением, как на улику.

И только тогда вспомнила про время.

Суббота. Приём в амбулатории с восьми до двенадцати, дежурная она. Сказаться больной? В городке, где на всю амбулаторию было два медика, больничный у фельдшера означал, что к полудню о нём знал каждый. Нина представила, как Валентина Игнатьевна стучит в дверь с кастрюлей куриного бульона, и поднялась.

Она поставила радиатор на самую малую мощность, принесла из дома эмалированный таз с водой и поставила рядом, на пол: вдруг. Подоткнула тулуп. Потом, не глядя на Берту, сказала ей:

— Охраняй.

Берта чуть шевельнула хвостом. Для неё это значило примерно то же, что для другой собаки торжественная присяга.

Нина заперла парилку снаружи на крючок, а входную дверь бани на старый навесной замок, ключ от которого всегда висел на гвозде под стрехой. Постояла минуту. Потом вернулась, приоткрыла дверь, чтобы ещё раз посмотреть.

Под тулупом, в полутьме, пульсировал свет. И ей показалось, нет, она потом много раз будет убеждать себя, что показалось, что он выровнялся и стал дышать в такт с ней.

Или это она сама подстроилась.

Глава 3. Амбулатория

Валентина Игнатьевна Сомова поймала её у калитки.

Она жила в соседнем доме сорок лет и знала про Нину всё, включая то, что сама Нина ещё не решила. Низенькая, круглая, в халате поверх ватника и в мужских галошах, Валентина выходила кормить кур ровно в половине восьмого, и если Нина уходила на работу чуть раньше или чуть позже, то непременно чувствовала себя виноватой, как школьница.

— Не спишь, — сказала Валентина вместо «здравствуй». Это был не вопрос. — У тебя в четыре часа свет горел. А потом погас.

— Давление, — ответила Нина. — Поднялось что-то.

— Давление у неё. Фельдшер, а сама себя лечить не умеет. — Валентина оглядела её с ног до головы, цепко, по-птичьи. — Серая вся. Ты ела вчера?

Нина не помнила.

— Вот. — Валентина сунула ей свёрток в фольге. Он был тёплый. — Оладьи. Не спорь.

Нина взяла. От запаха горячего теста и топлёного масла что-то неловко сжалось в горле. Так пахнет чужая забота, когда не ждёшь её и отказаться не можешь.

— А Берта где? Не слыхать её.

— Спит.

— Живая хоть? — тихо спросила Валентина.

— Живая, — сказала Нина и сама удивилась, как твёрдо это прозвучало.

Валентина кивнула, но уходить не спешила. Она наклонилась через штакетник и понизила голос, хотя на улице никого не было.

— Костька мой третий день талдычит, что звезду видел. Что она падала, а потом не упала. Сидит у окна по ночам, не загонишь. Я ему: спи, ребёнок. А он: бабушка, она гудела. — Валентина быстро перекрестила воздух у виска. — Газ это, Нина. Где-то газ рванул, а мужики молчат.

— Наверное, — сказала Нина и пошла быстрее, чем следовало.

Амбулатория помещалась в бывшей заводской медсанчасти, двухэтажном кирпичном здании на Советской улице. От прежней жизни в ней остались запах хлорки, длинный коридор со стенами, выкрашенными в синее, и портрет Гиппократа, под которым кто-то давно приписал фломастером: «Не навреди, а то заведующая убьёт». Раньше сюда приходили перевязывать порезанные пальцы лесопильщиков и зашивать разбитые головы в день получки. Теперь приходили пенсионеры, за давлением и за разговором, и разговор был важнее.

Врач, Ольга Дмитриевна Брагина, двадцати девяти лет, приехала из Вологды по программе «Земский доктор» и жила в служебной квартире над амбулаторией. По субботам она уезжала в город к матери, и приём вела Нина одна.

Без десяти восемь Нина открыла дверь своим ключом, включила свет в коридоре и в процедурном кабинете, поставила чайник. Потом, не позволяя себе остановиться и подумать, подошла к белому шкафу со стеклянными дверцами.

За двадцать шесть лет она не взяла отсюда даже пластыря.

Теперь она открыла шкаф и достала четыре флакона физраствора по четыреста миллилитров, две системы для капельниц, упаковку шприцов, пять ампул глюкозы, бинты, стерильные салфетки, спиртовые тампоны. Сложила всё в бумажный пакет. Руки были спокойными, и ей это не понравилось. Потом открыла журнал учёта и вписала напротив физраствора и глюкозы: «Списано, истёк срок годности». Строчка вышла ровной и убедительной, и от того, как легко далась ложь, ей на секунду стало дурно.

— Для дела, — сказала она вслух. — Для дела.

Гиппократ с портрета глядел сурово и, как ей показалось, без особого удивления.

Пакет она спрятала в подсобке, за ведро со шваброй.

К десяти пришло шесть человек. Фёдор Ильич Мальцев, восьмидесяти четырёх лет, со стабильным давлением сто восемьдесят и стабильной просьбой «чтоб как у космонавта». Раиса Павловна с больной рукой. Две сестры Кузнецовы, пришедшие вместе, потому что поодиночке боялись. Нина измеряла давление, слушала лёгкие, ставила печати, выписывала направления, и все они говорили об одном: о гуле. Фёдор Ильич утверждал, что в сорок третьем слышал похожее, только без огня. Раиса Павловна была уверена, что это американцы. Сёстры Кузнецовы сходились на том, что это к перемене погоды, но в какую сторону, спорили.

Нина кивала. Ей казалось, что весь городок смотрит на неё сквозь стены амбулатории.

Мальчик пришёл в десять сорок.

Костя Сомов, внук Валентины, десяти лет, вошёл без стука, как входят только дети, которых не успели научить стучаться, и дети, которые пришли к человеку, который им нравится. Светлые вихры, оттопыренные уши, разбитое в кровь колено, которое он нёс перед собой как трофей.

— С велика упал, — объявил он. — Бабушка сказала идти к вам, а то она йодом зальёт.

— Йодом я тоже могу, — сказала Нина.

— Знаю. Поэтому и пошёл к вам, а не к ней.

Она посадила его на кушетку и занялась коленом. Костя морщился, но молчал, и всё это время смотрел не на колено, а на её руки.

— Что это у вас? — спросил он наконец.

— Где?

— На пальцах. Блестит.

Нина посмотрела. Под ногтями и в складках на костяшках, там, где она уже дважды отмывала руки с мылом, осталась тончайшая зеленоватая пыль. В свете процедурной лампы она поблёскивала, как слюда.

— Мох, — сказала Нина. — Я в огороде копалась.

— Мох не блестит. — Он говорил серьёзно, без вызова. — Мы в школе смотрели мох под лупой. Он не блестит.

— Значит, какой-то особенный.

Костя промолчал. Потом потянул носом и сказал:

— А от вас пахнет грозой.

— Грозой?

— Ну, когда после грозы. Озоном. Мы тоже проходили.

Нина чуть не уронила пинцет. Она аккуратно положила его на салфетку и заклеила колено пластырем с динозаврами, хотя обычно клеила простой.

— Я звезду видел, — сказал Костя, глядя на динозавров. — Она не упала. Она села.

— Села?

— Ну, замерла. Прямо над лесом. Гудела и висела. А потом пошла вниз, медленно, как на верёвочке. Бабушка не верит. Вы верите?

Она могла бы соврать. Она хорошо умела врать детям: что не больно, что скоро пройдёт, что всё будет хорошо. Но у этого мальчика было очень внимательное лицо.

— Я верю, что ты видел что-то, что тебя сильно удивило.

— Это не ответ.

— Это правда.

— Это взрослая правда, — сказал Костя. Он слез с кушетки, проверил, держится ли пластырь, и у двери добавил, не оборачиваясь: — Я ещё Берту видел. Ночью. Она шла по улице с хвостом вот так. — Он показал пальцем колечко. — Я думал, она выздоровела.

И ушёл, хромая, довольный пластырем.

Нина сидела и слушала, как в коридоре затихают его шаги. Ей было пятьдесят два года, и она только что проиграла в разговоре десятилетнему мальчику.

Сергей Румянцев вошёл без десяти двенадцать.

На этот раз он был в фуражке и с папкой под мышкой: значит, по службе. Сергей Николаевич Румянцев, капитан полиции, участковый уполномоченный, пятидесяти трёх лет, человек, у которого в лице всё было длинное: нос, подбородок, терпение. Он снял фуражку на пороге, как делал это всю жизнь, даже в школе.

— Нин, привет. Я по делу. Но сначала давление померь, раз уж пришёл. А то Ольга Дмитриевна ругается.

— Давай руку.

Она накачала манжету. Тонометр зашипел. Руки у Нины не дрожали, и она снова подумала, что это странно и даже неприлично.

— Сто сорок на девяносто, — сказала она. — Не спал?

— Я никогда не сплю. — Он улыбнулся одним углом рта. — Дело такое. На комбинате была проверка. Новая охранная фирма, они его по долгам получили. Прислали мужика, он обошёл территорию и нашёл пролом в заборе. Это ладно, этот пролом там с позапрошлой зимы. А вот под эстакадой, в опилках, он увидел вмятину. Как будто кто-то лежал. И борозду от колеса, тачечного.

— Бродяги, наверное.

— Может, бродяги. — Он поправил папку на колене. — Тачка, говорят, пропала. Дяди Мотина. Никому не нужная, ржавая, а по инвентарю числится. Охранники обещали заявление написать, и мне теперь надо бумагу заводить. Из-за тачки. Представляешь?

Нина стала снимать манжету. Липучка расходилась с долгим треском, и этот треск, она была уверена, слышен был на всю амбулаторию.

— Представляю.

— И ещё. — Он помолчал. — Видел я твою Берту ночью. На углу Береговой. Одну. В четыре утра.

— Она, наверное, к реке пошла. Старые собаки тоже, бывает.

— Нин. Она полгода со двора не выходила.

— Вот и вышла.

Они посмотрели друг на друга. Он не отводил глаз, но и не давил, и она вдруг поняла, что за сорок пять лет знакомства он ни разу не сумел и не захотел на неё надавить.

— Ладно, — сказал он наконец.

Это было его «ладно». Оно означало: я понял, что ты не скажешь, и не стану спрашивать.

Он надел фуражку, встал и уже у двери сказал:

— Если что случится, ты мне скажи. Не как участковому. Как Серёже.

— Хорошо.

— Павел бы сказал, что я не в своё дело лезу. — Он коротко усмехнулся. — Сказал бы: Серёга, иди домой, спи.

Нина кивнула. Горло у неё было сжато.

Когда дверь закрылась, она сидела ещё минуту. Потом вынула из подсобки пакет, сняла халат, повесила его на крючок, закрыла амбулаторию на два оборота и пошла домой почти бегом.

И только на улице вспомнила про тачку, стоявшую посреди огорода, на виду у всей Заречной.

Глава 4. Дождь

Тачка стояла там же, где Нина её бросила: посреди огорода, среди жухлой картофельной ботвы, ржавая, нелепая и приметная, как грузовик на пустой площади. Окна Валентины выходили на улицу, огород из них не просматривался, но забор между участками был низкий, штакетный, и любой, кто вышел бы кормить кур, увидел бы её сразу.

Нина дотащила тачку до сарая и закидала сухим хворостом, который Павел когда-то заготовил на растопку и который лежал нетронутым с тех пор, как некому стало топить. Хворост лёг неубедительно. Лучшего она не придумала.

Баня встретила её тишиной и ровным гулом радиатора. Замок был на месте. Берта подняла голову и посмотрела так, будто докладывала: без происшествий.

Существо лежало так же, как лежало. Таз с водой остался нетронутым. Свет шёл ровно, но когда Нина присела рядом и посчитала, то насчитала восемь в минуту. Утром было девять.

— Не смей, — сказала она вслух.

И начала с того, что умела.

Она выложила на лавку принесённое: флаконы, систему, шприцы, жгут. Руки знали порядок, как таблицу умножения. И остановились в воздухе над существом. Куда?

Она откинула тулуп и долго осматривала длинную тонкую руку. Вен не было. Под гладкой кожей по всей длине тянулись светящиеся нити, и какие-то из них, возможно, были сосудами, а какие-то чем-то другим, и она не знала, какие. Она двадцать шесть лет искала вены у людей, у младенцев и стариков, у наркоманов с исколотыми руками, и всегда находила. Люди были понятны. У людей были вены.

Тогда она смочила салфетку физраствором и коснулась щелей на шее. Они сомкнулись, как створки раковины, и раскрылись снова только через минуту. Она набрала воду в шприц без иглы и капнула на то место, где у человека был бы рот. Вода скатилась по гладкой коже и впиталась в тулуп. Она согрела на плитке в доме бульон и принесла в термосе. Бульон остался в термосе.

К трём часам она перепробовала всё, что приходило в голову, и сидела на лавке, глядя на собственные руки, которые вдруг стали ненужными.

— Я ведь не знаю, что ты, — сказала она. — Я даже не знаю, оно ты или он.

Свет поднялся и опал. Щели на шее шевельнулись.

Нина прислонилась затылком к тёплым брёвнам и закрыла глаза на минуту.

Проснулась она от того, что стало темно.

За окошком сгущались сумерки, а в бане было почти темно, и только под тулупом слабо теплился зеленоватый свет, и он стал бледнее. Намного бледнее. Нина метнулась к существу, считая: раз, два, три, и до следующей вспышки получилась такая пауза, что у неё остановилось дыхание.

Семь.

Она подтянула тулуп выше, прибавила на радиаторе мощность, потом убавила, потому что тепло, понятно было, не помогало. Она ходила по маленькой парилке, как по клетке, трогала то лоб, то руки, а потом села на пол, прямо на доски, рядом с существом, и тихо сказала ему:

— Скажи мне. Скажи, что тебе нужно. Я сделаю.

На крышу упала капля.

Она не сразу поняла, что это. Тяжёлый, глухой звук по тёсу, потом пауза, потом ещё один. Потом сразу много, ровно, сыпучим шорохом, как будто кто-то высыпал на баню горох. К вечеру с реки пришли тучи, и пошёл дождь.

Нина услышала это, а потом почувствовала другое, не слухом, а кожей: воздух в бане чуть сдвинулся, как сдвигается воздух, когда в комнате появляется ещё один человек.

Свет вспыхнул.

Не разгорелся, не поднялся, а именно вспыхнул, на один удар, ярко, золотисто, так, что тени на стенах прыгнули. Щели на шее раскрылись широко, как у рыбы, вытащенной на берег, и замерли. И Нина, сидя на корточках на полу, вдруг увидела всё разом: что оно слушало. Что оно слушало эту крышу, как слушают голос.

— Дождь, — сказала она. — Тебе нужен дождь.

Она вскочила, распахнула дверь парилки, потом входную. Ударило запахом мокрой земли и яблоневой листвы. В темноте шёл густой осенний ливень, и в углу под скатом крыши, где Павел собирался починить жёлоб да так и не собрался, вода падала с края тесовой кровли тугой блестящей струёй прямо в старую бочку, для полива. Звук был такой, словно кто-то беспрерывно наливал в стакан.

Нина вернулась, подхватила тулуп за края и потянула. Существо поехало по полу вместе с овчиной, тяжёлое, но не неподъёмное. Она вытащила его в предбанник, на порог, подтянула так, чтобы длинная рука, высунувшись из-под овчины, оказалась снаружи, под струёй.

Вода ударила по пальцам.

Пальцев было четыре, длинных, с лишним суставом, и они раскрылись навстречу воде, как раскрываются листья. Кожа на тыльной стороне руки потемнела, влажно, глубоко, как темнеет земля после ливня. Свет, прежде бивший только вдоль спины, дрогнул и двинулся вниз, в плечо, в предплечье, в пальцы, по тончайшим нитям, одной за другой, как зажигаются окна в доме, куда возвращаются жильцы. Нина увидела, как они проступили под кожей по всей руке, как ветви: тысячи тонких прожилок, сияющих золотом и зеленью.

Щели на шее раскрылись и сомкнулись, раскрылись и сомкнулись, и теперь это было дыхание. Настоящее, глубокое, ровное, уже без пауз.

Берта подошла, обнюхала мокрые длинные пальцы и вдруг лизнула. Один раз. Так, как она раньше лизала хозяйские руки.

— Вот, — сказала Нина. Голос её не слушался. — Вот, молодец. Пей.

Она села на мокрую ступеньку, на край, под козырёк, где её уже захлёстывало брызгами, и не ушла. Дождь шёл стеной. Под курткой, под свитером, по спине стекала холодная вода, а ей было всё равно. Она смотрела, как свет поднимается из пальцев к плечу и дальше, по горлу, к тому месту, где у человека была бы челюсть, к вытянутому гладкому лицу, и на этом лице вдруг что-то шевельнулось.

Створки.

Они дрогнули, потом разошлись в стороны, медленно, как раздвигаются ставни, и под ними оказались глаза. Небольшие, глубоко посаженные, тёмные, без белков, влажные, как два речных камня на дне. Они не сразу нашли её. Сначала блуждали по потолку, по тесовой кровле, по струе воды, от которой отражался золотистый свет, а потом сошлись на лице Нины и остановились.

В них не было ни страха, ни вопроса. В них было что-то другое, чему Нина не сумела бы подобрать название, но чему за двадцать шесть лет работы с чужой болью научилась доверять: внимание. Полное, тихое, бережное внимание, обращённое именно на неё, а не на человека вообще.

Она не помнила, когда на неё в последний раз так смотрели.

— Здравствуй, — сказала Нина.

Слово было смешным, обыденным, как «хлеб» или «дверь». Но существо моргнуло, створки закрылись и снова открылись, и свет по спине один раз ярко и коротко вспыхнул, в такт её голосу.

Нина плакала и не вытирала лица. На нём всё равно была вода.

— Пей, — повторила она. — Пей, пожалуйста. Я никуда не уйду.
Дождь шёл всю ночь.

Глава 5. Звуки

Утром Нина проснулась от холода и от того, что на неё смотрят.

Она не заметила, как заснула, сидя на пороге и привалившись плечом к косяку. Дождь перестал. С крыши ещё капало, редко и звонко, и каждая капля падала в бочку с таким звуком, будто кто-то стучал пальцем по стеклу.

Существо сидело в двух шагах от неё, прислонившись спиной к стене предбанника. Оно было выше, чем ей казалось, когда оно лежало: сидя, оно складывалось как складной метр, колени поднимались выше плеч, длинные руки лежали на коленях, а тулуп сполз на пояс и висел, как плащ на вешалке. Кожа за ночь стала темнее и глянцевитее, цвета мокрой берёзы, и по ней, не затихая, шёл свет, уже не бледно-зелёный, а тёплый, золотисто-зелёный, как в июне сквозь листву.

Пауз больше не было.

Оно смотрело на неё. Берта лежала рядом и держала подбородок на его длинной ступне, как на хозяйском сапоге.

— Доброе утро, — сказала Нина хрипло.

Глаза моргнули. Створки закрылись и открылись. И Нина впервые заметила, что они двигаются не как веки, сверху вниз, а как ставни, из стороны в сторону, и что в самый момент, когда они смыкаются, свет по спине слегка меркнет, словно оно задерживает дыхание.

Она рассмеялась. Просто от того, что оно живо. Просто от утра.

Первые дни они учились друг у друга.

Нина вставала в шесть, топила в доме печь, варила себе кашу, которую не хотела, потом шла к бане и отпирала замок. К восьми уходила в амбулаторию. К двум возвращалась, быстрым шагом, чтобы не встретить Валентину, и до вечера возилась в бане.

Первым делом нужен был дождь. Дождь не мог идти вечно, а существо без него гасло: на второй день, когда небо расчистилось, свет снова пошёл бледнеть, и Нина, чувствуя, как у неё холодеют руки, вспомнила, что изобретать нужно без паники. Она взяла из сарая оцинкованное ведро, прибила в донышко гвоздём два десятка дырок и повесила его на крюк под потолком парилки, над корытом, в котором лет сорок назад мылась ещё Павлова мать, а потом купали маленького Артёма. Налила в ведро дождевой воды из бочки. Вода потекла тонкими струйками и застучала по цинку.

Существо встало. Нина и не знала, что оно может встать так быстро. Оно подошло к корыту, сложилось в него, как складывается птица в гнездо, и подставило лицо и плечи под струйки. Свет по телу прошёл долгой тёплой волной.

Водопроводную воду оно не любило. Когда Нина наливала из крана, оно осторожно отодвигало руку, как отодвигают чашку с остывшим чаем, и ждало, пока вода постоит и «отпустит». Дождевая нравилась. Очень холодная не нравилась. Горячей оно боялось.

Есть оно не ело. Нина принесла картошку, хлеб, кашу, сырую морковь, даже кусок вареной курицы, и всё осталось нетронутым. Она долго сопротивлялась мысли, а потом признала: не ест, как не едят деревья. На третий день она принесла из сарая мешок опилок от Павловой столярки и рассыпала на полу. Существо легло на них, зарылось руками, глубоко, по локоть, и впервые за всё это время закрыло глаза так, как закрывают их, засыпая.

Она называла его Гостем. Другое имя не шло.

Первый звук она услышала на четвёртый вечер.

Нина простудилась под дождём, и в тот вечер кашляла, сидя в предбаннике на старом табурете и глядя через открытую дверь на парилку, где светилось корыто. Кашляла сухо, с хрипотцой. Откашлялась, вытерла рот, и тишина.

Потом из парилки донёсся кашель.

Тот же. Её. С хрипотцой, на выдохе, с короткой паузой в конце. Точный, как слепок.

Нина замерла.

— Ну уж нет, — сказала она шёпотом. — Нет уж.

Тишина. Потом, тихо, из темноты, снова: кх-кхм. Но теперь вместе с кашлем шла ещё одна нота, едва уловимая, не издёвка и не дразнилка, а что-то вроде вопросительной интонации.

Она засмеялась. Смех вышел неожиданно громким, истерическим, и она зажала рот ладонью, потому что за забором Валентина, не дай Бог. Слёзы потекли сами.

Потом он показал ей всё, что успел собрать. Он делал это неторопливо, по порядку, как ребёнок показывает коллекцию камешков. Скрип двери, тонкий и ржавый. Вздох Берты, долгий, с дрожью. Звон ведра о цинк. Стук капель. Как Нина шаркает по доскам. Как Нина говорит «тихо, тихо».

И каждый звук он выпускал тихо, и после каждого замолкал и слушал, как она отзывается.

На следующий день Нина принесла из дома радио. Старый батарейный приёмник Павла, пожелтевший, с выдвижной антенной и круглой ручкой, которая трескалась при повороте. Включила негромко, на какую попало станцию. Новости. Голос диктора, ровный, как линейка. Потом музыка, старая песня про берёзы, потом снова голос.

Существо сидело в корыте и слушало, повернув голову к приёмнику. На новости оно отвечало тихим журчанием, как будто пытался повторить интонацию. На музыку свет бежал по спине быстрее и золотистее, и однажды Нине показалось, что в такт он даже чуть покачивается.

В полдень пошли сигналы точного времени. Пять коротких и один длинный.

Пик. Пик. Пик. Пик. Пик. Пи-и-ик.

Нина потянулась убавить громкость и не успела: из корыта донёсся тот же ряд звуков. Пять коротких, один длинный. Чистых, как стекло. Безупречных.

— Господи, — сказала она. — Да ты меня просто обыгрываешь.

Щели на шее раскрылись и сомкнулись, и ей почудилось, что он доволен.

Артём позвонил в воскресенье вечером.

Он звонил раз в месяц, каждый раз ровно в то время, когда она заканчивала ужин, и каждый раз они говорили одинаково: коротко, осторожно, как перебрасываются хрупкой вещью, не желая уронить.

— Привет, мам. Ты как?

— Нормально.

— Точно?

— Точно.

Он помолчал. На другом конце, в Москве, что-то гудело, наверное, метро или улица. Ему было двадцать девять, и голос у него был такой же, как у отца: низкий, чуть хрипловатый, с привычкой делать паузу перед важным.

— Мам, у тебя голос какой-то другой.

— Какой?

— Не знаю. Живой, что ли.

Нина прижала трубку к уху и посмотрела в окно, за которым в темноте огорода стояла чёрная баня. Над ней, чуть заметный, лежал золотистый отсвет, как над костром, который никто не разжигал.

— Это от телефона, — сказала она.

Артём коротко, неловко засмеялся.

— Я на годовщину приеду, в конце марта. Если получится. У нас на работе сейчас неспокойно, ты не думай, всё нормально, просто... — Он замолчал. — Мам, может, ты бы в Москву перебралась? Одна же там совсем.

— Я не одна.

Слова вылетели сами. Нина прикусила язык.

— То есть?

— Соседка, Валентина. Костя. Ну, весь город. Тём, я устала, я тебе потом перезвоню.

— Мам, ты точно в порядке?

— Я занята, Тёма. Хозяйством. Целую.

Она положила трубку и долго сидела с телефоном в руке. Впервые за полгода она закончила разговор с сыном не с чувством вины, а с тихим, настойчивым ощущением, что на плите осталось что-то важное, и надо идти.

Она накинула куртку и вышла в огород.

Сверху лежала чёрная осенняя ночь, чистая после дождя, и звёзд было так много, как бывает только в тех местах, где давно погасили фонари. Нина шла по мокрой траве и слушала, как в бане, тонко и ясно, кто-то выпевал одну и ту же ноту. Ноту, которую она сама, кажется, никогда не пела.

Он собирает звуки, как другие собирают тепло.

Каждый звук приходит снаружи и оставляет в нём след, маленькую вмятину, которую можно потом заполнить собой. Скрип. Вздох. Дождь. Её голос. Он ещё не знает, что они значат, но знает другое: тот, кто отзывается, не одинок.

Он пробует. Он выпускает звук обратно. И от того, как она вздрагивает, как светлеет её лицо, он понимает: это работает. Так и устроена связь: один отдаёт, другой узнаёт.

Но у него есть ещё один звук. Старый, тот, который он не собирал. Он пришёл вместе с запахом, с дымом и деревом, из той памяти, что ему не принадлежит. Он носит его в себе, как ключ от двери, которой он не видел.

Пока рано.

Он ждёт.

Глава 6. Валентина

Через неделю о ней стали говорить.

Сама Нина ничего не замечала. Она просто жила, как живут люди, у которых появилось дело: вставала раньше, ходила быстрее, забывала отвечать на вопросы, которые ей не интересны. Ольга Дмитриевна в понедельник посмотрела на неё поверх кружки с чаем и сказала:

— Нина Андреевна, вы как будто помолодели. Влюбились?

— В радиатор, — сказала Нина.

Ольга Дмитриевна рассмеялась, решив, что это шутка, и Нина тоже рассмеялась, и смех у неё вышел странно лёгкий, будто она вынула из груди камень и не заметила, как он вывалился.

Но в маленьком городе такие вещи не проходят незамеченными. На рынке спросили, не новая ли у неё причёска. В магазине продавщица Люда, протягивая сдачу, сказала: «Что-то вы, Нина Андреевна, посвежели». В аптеке заведующая сказала то же самое и добавила: «Вот что значит время лечит». Нина кивала, благодарила и несла домой сумку с тремя банками тушёнки, пакетом сахара, свечами и бутылкой растительного масла, и ей казалось, что она несёт в этой сумке не продукты, а улики.

Во вторник её поймала Валентина.

Нина возвращалась из амбулатории в половине третьего. Она вошла во двор, взяла два пустых ведра, стоявших у крыльца, и пошла с ними к бочке за баней, и в этот момент услышала с соседского участка:

— Нина.

Валентина Игнатьевна стояла у забора с вилами в руках. На грядке за её спиной возвышалась куча выдернутой ботвы, а на лице было то самое выражение, с которым она в сорок лет, по её собственным словам, ловила Ивана с чужой женщиной: бесстрастное, ровное, как закрытая дверь.

— Здравствуй, Валя.

— Здравствуй. — Вилы воткнулись в землю. — Ты что в баню вёдра таскаешь?

Нина крепче сжала дужки.

— Баню топлю. Спина.

— Дымом не пахнет.

— Электричеством. Я радиатор поставила.

— Радиатор. — Валентина кивнула. — А радио там у тебя зачем? Я каждый день слышу. Новости и музыку. И в одно и то же время вроде.

Нина открыла рот и закрыла. Врать Валентине было всё равно что врать собственной тени.

— Павел любил в бане радио, — сказала она наконец. Это была правда, и голос её прозвучал от этого убедительно.

Валентина молчала долго. Потом сняла рукавицы, вытерла руки о подол и подошла вплотную к штакетнику. Глаза у неё были светло-серые, выцветшие, и сейчас, при свете осеннего дня, Нина разглядела в них то, чего раньше не замечала: усталость. Очень старую, тщательно спрятанную.

— Знаешь, когда мой Иван помер, — сказала Валентина, — я тоже в баню ушла. Неделю не выходила. Сидела и с ним разговаривала. Девять лет прошло, а до сих пор иной раз захожу.

Нина промолчала. Ей вдруг очень захотелось рассказать ей всё.

— Я не к тому, — продолжила Валентина. — Я к тому, что хорошо, что ты оживаешь. Правда хорошо. Я полгода на тебя смотрела и думала: уйдёт Нинка за Павлом, уйдёт тихо, как свеча. Ан нет. А теперь... вот. — Она неопределённо махнула рукой в сторону бани. — Что у тебя там за дело, не моё это дело. Только не прячься от людей. Одной нельзя.

— Я не прячусь.

— Конечно. — Валентина слегка улыбнулась. — Я, Нина, старая, а не слепая.

На этом можно было бы остановиться, но Валентина стояла и не уходила, глядя куда-то за Нинино плечо, на тёмную полосу леса, который начинался сразу за плетнём.

— Павел твой тоже последний год странный был, — сказала она тихо. — Ты не обижайся, я не со зла. Он ведь, бывало, сядет вечером у калитки и смотрит туда, на дальнюю просеку, и сидит, как заворожённый. Я ему раз крикнула через забор: что высматриваешь, Паша? А он обернулся и говорит: «Свет, Валя». Я думала, он про закат. А он: «Нет. Просто свет».

У Нины похолодели руки. Она стояла с вёдрами и смотрела на Валентину, а в голове у неё медленно и тяжело поворачивалось что-то огромное.

— Я думала, у него с сердцем плохо, — сказала Валентина. — Мало ли что человеку в голову... А потом он умер, и я решила, что вот оно, значит, и было. А сейчас смотрю на тебя и... Ладно. Иди. — Она подняла вилы. — Бульон у меня на плите, зайдёшь вечером, возьмёшь.

Она ушла, шурша ботвой.

Нина добралась до бани, как по льду. Поставила вёдра. Прислонилась лбом к тёплой стене.

Свет, подумала она. Просто свет.

Костя пришёл на закате.

Нина услышала его раньше, чем увидела: хруст ботвы за баней, осторожное пыхтение, скрип перевёрнутого ведра, которое кто-то подкатил к стене. Она вышла из предбанника тихо, как вышла бы на звук, не желая его спугнуть, и обошла баню по кругу.

Костя стоял на ведре на цыпочках, прижав ухо к стене под окошком. Он был в школьной куртке, в шапке с помпоном и в тех самых кроссовках, в которых упал с велосипеда. Колено под штаниной бугрилось пластырем.

— Костя.

Он не вздрогнул. Медленно, с достоинством, слез с ведра и посмотрел на неё без тени смущения.

— Здрасьте.

— Что ты здесь делаешь?

— Слушаю. — Он поправил шапку. — У вас там кто-то есть.

— Кошка.

— Кошки так не дышат.

— Как не дышат?

— Ровно. Ш-ш-ш, ш-ш-ш. Как аквариумный фильтр. — Он говорил серьёзно, как говорят дети, которые уверены в своей правоте. — Я уже полчаса слушаю. Там кто-то дышит. Большой. И ещё радио играет.

— Радио играет, потому что я его включила.

— Ага. А потом оно выключилось. Я слышал. Щёлк, и всё. А звук остался.

Нина закрыла глаза. Радио она и вправду выключила в шесть, чтобы поберечь батарейки.

— Костя, иди домой.

— А вы расскажете?

— Что?

— Что у вас в бане.

— Там ничего нет.

Он посмотрел на неё долго и без осуждения.

— Вы очень плохо врёте, — сказал он. — У вас лицо всё говорит. Бабушка тоже так: пока рот говорит одно, лицо говорит другое. Я по лицам читаю. Это у меня с детства.

Она невольно улыбнулась и сразу рассердилась на себя за улыбку.

— Костя, это важно. Очень. Это не игра.

— Я знаю. — Он вдруг стал серьёзным, как взрослый. — Поэтому я никому не скажу. Честное слово. Бабушка говорит «честное пионерское», но я не пионер.

Они стояли друг напротив друга в синих сумерках: пятидесятидвухлетняя женщина и десятилетний мальчик в шапке с помпоном. Над крышей бани медленно, неспешно поднимался золотистый отсвет, который Нина научилась не замечать и который, она вдруг поняла, должен был быть заметен всякому, кто смотрел бы внимательно. Например, ребёнку, сидящему ночами у окна.

— Ты ничего не видел, — сказала она.

— Я ничего не видел, — повторил Костя охотно. — Но можно я постою тут? Просто постою?

Нина хотела сказать нет. Вместо этого она сказала:

— Недолго.

Они встали рядом у стены, прислонившись спинами к тёплым брёвнам, и стали слушать. Было тихо. Где-то далеко лаял пёс, собаки в Староречье опять заговорили. В бане, за стеной, ровно дышало существо: ш-ш-ш, ш-ш-ш.

Потом Нина услышала:

Пик. Пик. Пик. Пик. Пик. Пи-и-ик.

Костя повернул к ней лицо, большое и бледное в сумерках.

— Это же сигналы точного времени, — прошептал он. — А сейчас без десяти семь. Они в семь бывают.

— Костя...

— Это не радио. Радио выключено.

Он смотрел на неё, и в его глазах не было страха. Было что-то другое, яркое и жадное, как огонь в печи, куда подбросили сухих дров. Детское, чистое любопытство, которое взрослые забывают к двадцати годам, а некоторые и раньше.

— Завтра, — сказала Нина. Голос у неё сел. — Завтра я скажу тебе, можно или нет. Мне надо подумать. Хорошо?

— Хорошо. — Он помолчал. — А оно хорошее?

Слова прозвучали так просто, что у Нины сдавило горло.

— Не знаю, — честно ответила она. — Но мне кажется, да.

— Тогда ладно.

За забором раздался голос Валентины, высокий, как всегда на закате:

— Костя! Ужинать!

Мальчик сорвался с места, подхватил ведро и поставил его на место, потом подумал и вернулся, чтобы поставить точно на то же место, а потом побежал, пригнувшись, вдоль плетня к своей калитке. Нина слышала, как хлопнула дверь, как Валентина что-то спросила, как он весело, без запинки ответил.

Она вошла в предбанник. Прикрыла за собой дверь.

Существо стояло посреди парилки. Стояло, а не сидело: во весь свой немалый рост, в полутьме, чуть склонив вытянутую голову к двери. Золотистый свет шёл по нему плавно, и в этом свете Нина разглядела то, чего раньше не видела: оно слушало. Не просто слушало, а прислушивалось, как прислушивается человек к шагам, которые только что ушли по коридору.

— Это Костя, — сказала Нина. — Он друг. Кажется.

Глаза-ставни раскрылись и закрылись.

— Кос-тя, — выдохнуло существо.

Слог за слогом. Тихо, неуверенно, как говорят дети, пробуя на вкус чужое слово. Голосом, в котором не было ни одного живого тембра, и всё-таки, без сомнения, голосом.

Нина села прямо на пол.

Берта, лежавшая у порога, подняла голову и тихо, коротко вздохнула.

Глава 7. Свет в окне

Эту ночь Нина не спала.

Она сидела в предбаннике на табурете, смотрела на золотистый отсвет, лежавший на стене, и думала о том, что обещала мальчику ответ. Ответов было два, и оба были плохие. Если сказать «нет», Костя придёт всё равно: не сегодня, так через неделю, перелезет через плетень, прижмёт ухо к стене и будет слушать. Такие дети не отступают. А ребёнок, которому сказали «нельзя», всегда находит щель. Если же сказать «да», в её тайне появится ещё один человек, и этому человеку десять лет.

К утру она поняла, что разница не так велика, как кажется. Ребёнок, которому сказали «нельзя», становится лазутчиком. Ребёнок, которому сказали «можно, но...», может стать часовым.

Костя пришёл в половине пятого, прямо из школы, с рюкзаком, и по тому, как он топтался у калитки и не решался толкнуть её, было видно, что он весь день думал о том же.

— Можно, — сказала Нина, не дав ему открыть рот. — Но три правила.

Он выпрямился, как на линейке.

— Первое. Никому. Ни бабушке, ни друзьям, ни маме по телефону. Второе. Ты приходишь только когда я дома. Один никогда. Третье. Не трогай, пока он сам не потрогает. И не кричи.

— Он?

— Не знаю, — призналась Нина. — Мне так легче.

— Ладно. — Костя серьёзно кивнул. — А если я захочу чего-то спросить?

— Спрашивай меня.

— А его?

— Его тоже можно. Только он не всегда отвечает.

Он кивнул ещё раз, глубоко вдохнул, как перед прыжком в воду, и пошёл за ней к бане.

Первое, что она заметила, было его лицо. Она ждала, что он вскрикнет, отпрянет, зажмёт рот ладонью, может быть, убежит. Ничего этого не случилось. Костя остановился на пороге парилки, и лицо у него стало таким, каким бывает у человека, вошедшего в знакомую комнату после долгой разлуки: растерянным и светлым.

Существо сидело в корыте под дырявым ведром, и по нему текли ручейки воды и света.

— Привет, — сказал Костя тихо.

Створки раскрылись. Тёмные глаза обратились к нему и замерли. Нина затаила дыхание.

— Кос-тя, — сказало существо.

— Ага, — выдохнул Костя. — Это я.

Он сделал шаг. Потом ещё один. Присел на корточки в двух шагах от корыта, и Нина вдруг заметила, что он старается двигаться так же медленно, как движется оно: плавно, без рывков, будто воздух вокруг стал густым.

— Он красивый, — сказал Костя. Это не был вопрос, и не комплимент, а просто констатация, как «на улице дождь». — Он как... как ночник. Только живой.

Потом он вспомнил о рюкзаке, и лицо у него стало виноватым и торжественным одновременно.

— Я принёс. Мне мама привезла из Питера. Я подумал, ему понравится, потому что... ну, там вода.

Из рюкзака он достал стеклянный шар размером с яблоко: внутри стояла крошечная крепость с золотым шпилем, а вокруг лежали белые хлопья на дне. Костя встряхнул его, и хлопья взвились и стали медленно, невероятно медленно оседать. Он поставил шар на край корыта.

Существо замерло. Потом очень осторожно, длинными четырьмя пальцами, обхватило шар. Поднесло к лицу. Свет по его телу притих, будто оно боялось его спугнуть. Долгое мгновение оно просто смотрело, как оседают хлопья. А потом, неумело, но безошибочно повторив движение Кости, встряхнуло.

Снег взлетел.

Свет по спине побежал вслед за ним, вверх и вниз, плавными золотыми волнами. Из щелей на шее вышел тихий, прерывистый звук, похожий на то, как вдали закипает чайник, и Нина не сразу поняла, что это радость.

— Снег, — сказал Костя.

— Сне-ег, — повторило существо.

Костя повернулся к Нине. Лицо у него сияло так, будто это он сам, а не кто-то другой, только что научился говорить.

— Он умеет говорить!

— Он умеет повторять.

— Это то же самое, — сказал Костя. — Только медленнее.

Нина хотела возразить и не нашла чем.

Сергей пришёл в восемь вечера.

Он принёс яблок. Полную сумку антоновки, с запахом осени и сырой кладовки, и поставил её у порога, как ставят подношение. На нём была гражданская куртка, без фуражки, и сам он выглядел странно уязвимым без формы: длинный, сутулый, с седыми висками, с глазами, которые, казалось, всё время извинялись за то, что видят слишком много.

— С дачи, — сказал он. — Девать некуда. Бери.

— Спасибо. Проходи.

Он сел на кухне, на то место, где ещё недавно сидел её муж, и Нина заметила, что он сел на самый край, будто боялся занять чужое. Она поставила чайник. Он разглядывал кроссворд, лежавший на столе, исчёрканный карандашом.

— Приток Волги, три буквы, — прочитал он. — Ока.

— Ока.

Они помолчали. На стене над столом тикали ходики, и Нина слушала их, как всю жизнь, и вдруг услышала так, как слышал, наверное, он: сухой ход, ровный, с тихим щелчком на каждом шестом ударе.

— Павел всё собирался починить, — сказал Серёжа.

— Он собирался много чего.

— Я их слышу иногда. — Он смотрел на стрелки. — Когда я пришёл тебе сказать, в тот день. Ты была на кухне, стояла у плиты, и в доме была такая тишина, что я только их и слышал. Щёлк. Щёлк. Я ещё подумал: как же ей это сказать, когда они так громко.

Нина поставила чашки на стол очень осторожно.

— Я помню, — сказала она.

— Прости. Не надо было.

— Надо. — Она села напротив. — Мне иногда кажется, что никто не говорит о нём вслух. Будто боятся. А он был.

Сергей кивнул. Потом отпил чаю и заговорил о другом, о том, ради чего, видимо, пришёл на самом деле, и в голосе его появилась знакомая, чуть официальная ровность.

— Странное у нас творится, Нин. Свет по ночам мигает. В ночь, когда гудело, мигнул по всему Староречью, на секунду. И вчера в два часа опять. Энергетики говорят: на подстанции коротит. А подстанция у нас на другом конце района, и там всё в порядке, я звонил.

Нина обхватила чашку руками.

— И ещё. Позавчера в городе были двое. Из Москвы, на чёрном джипе, номера столичные. Остановились в «Лесной», в гостинице. Представились сотрудниками Института физики

атмосферы, документы показали. Хорошие документы. Ходили по городу, расспрашивали в магазине, на рынке, у Фёдора Ильича. Про гул, про свет, не видел ли кто чего необычного.

— И что им сказали?

— Что газ. — Серёжа скупо улыбнулся. — Один хмурый, второй вежливый. Слишком вежливый. Ты понимаешь, о чём я.

Нина понимала. Она чувствовала, как медленно холодеют кончики пальцев.

— Сказали, что через неделю приедет комиссия. Академическая. Будут замеры делать, с приборами. — Он помолчал. — Мне велели оказывать содействие.

— А ты?

— Я участковый. Я оказываю содействие.

Он отодвинул чашку.

— Нин. У тебя всё в порядке?

Вот сейчас, подумала она. Сейчас можно. Он ждёт. Он не торопит, он просто сидит на краешке чужого стула, и ему можно сказать: Серёжа, у меня в бане живёт нечто, и я не знаю, что с ним делать, помоги.

— Серёж, — начала она.

Он ждал. Ходики тикали. Она слышала, как в огороде, в черноте за окном, кто-то неслышно вздохнул, и это, может быть, был ветер.

— Спасибо за яблоки, — сказала она.

Он медленно кивнул. Лицо его не изменилось, но что-то в глазах на секунду потускнело и снова выровнялось.

— Ладно.

Он встал, взял куртку, у порога задержался, глядя в тёмное окно, выходившее на огород. Там, в глубине, между голыми ветками яблони, лежало слабое золотистое пятно.

— У тебя баня в эту пору светится.

— Лампочка. Я прогреваю.

— Ладно, — сказал он ещё раз. Мягко и очень тихо. — Спокойной ночи, Нин.

Она проснулась в десять минут третьего.

Не от звука, а от того, что в доме пропал свет. Мигнул и вернулся, мигнул и вернулся, лампочка в коридоре прыгала, как пульс, и холодильник на кухне охнул и затарахтел. Нина уже стояла на ногах, босая, с накинутым на плечи пледом, и слышала, как во дворе, срываясь, воет Берта.

Берта не выла уже полгода. Это был даже не вой, а долгий высокий звук, поднимающийся в ночь, как струйка дыма.

Нина выбежала в огород.

Баня светилась. Не отсветом, а целиком, из всех щелей, из окошка, из-под двери, золотым и яростным светом, от которого трава у порога блестела, как мокрая. Нина рванула дверь. Лампа в предбаннике бешено мигала. Радио, выключенное, трещало и шипело само по себе.

Существо стояло посреди парилки, выпрямившись во весь рост, запрокинув голову к потолку, как будто видело сквозь тёс, сквозь крышу, сквозь осеннюю ночь. По нему, не затихая, бежали волны света, быстрые, острые, и золотой в них мешался с белым. Створки глаз были раскрыты настежь.

А из щелей на шее шёл звук. Не человеческий, не повтор и не копия, а настоящий, собственный, тонкий и высокий, на самой границе слуха, как давление в ушах перед грозой.

Оно звало.

Нина поняла это сразу и целиком, как понимают, что человек зовёт на помощь, на каком бы языке он ни кричал.

— Тише, — сказала она. — Тише, тише, ну что ты, тише.

Она подошла и положила ладонь на его плечо, горячее, как печка, и свет под её рукой ударил в кожу током. Но она не убрала ладони.

— Я рядом. Я здесь.

Звук оборвался. Свет споткнулся, замедлился, пошёл ровнее. Створки дрогнули. Глаза нашли её, и в них было то, чего она никогда не видела у существа: не внимание, а узнавание, как у ребёнка, проснувшегося от кошмара и увидевшего мать.

Лампа в предбаннике перестала мигать. Радио умолкло.

Нина стояла и слушала, как успокаивается чужое дыхание: ш-ш-ш, ш-ш-ш. И в тишине, которая настала после, ей показалось, или не показалось, что откуда-то издалека, из-за леса, из-за туч, из-за самого дальнего края ночи, очень низко и коротко что-то ответило.

Не звук даже. Дрожь воздуха.

Она посмотрела на существо. Оно тоже слушало, повернув голову к стене, туда, где за плетнём стояла чёрная стена леса. И свет под его кожей, прежде такой яркий, тихо сжался в маленькую золотую точку и погас до самого слабого мерцания.

— Кто это? — спросила Нина шёпотом.

Существо повернуло к ней лицо.

И она поняла, что ей придётся научиться бояться не только тех, кто придёт за ним оттуда, снаружи, с чёрными машинами и документами, но и тех, кто мог ответить ему оттуда, сверху.

Глава 8. Свист

После той ночи оно больше не звало.

Нина ждала. Каждую ночь она просыпалась без десяти два и лежала с открытыми глазами, вслушиваясь в дом: в холодильник, в ходики, в долгий скрип ветра по крыше. Свет не мигал. Берта не выла. А утром, придя в баню, она заставала существо у окна парилки, где оно сидело неподвижно, запрокинув голову, и смотрело вверх, на узкий квадрат неба, в котором к утру гасли звёзды.

Оно ждало ответа. Нина знала это так же точно, как знала, что человек, сидящий у телефона, ждёт звонка. И от этого ей было страшно и больно одновременно.

Команда из Академии, о которой говорил Серёжа, должна была приехать в конце недели. Нина прикидывала так и этак. Подпол в доме: холодный, сырой, с земляным полом, и главное, она сама могла там сидеть сколько угодно, никому не показываясь. Но для существа подпол означал тьму и тишину, а оно не могло без дождя и звуков. Лес: ей даже думать об этом было невыносимо. Чердак: летом он нагрелся бы до тридцати градусов, а сейчас...

Она перебирала и отбрасывала варианты, и каждый вечер приходила к одному и тому же: нужно было ещё немного времени. Она сама не понимала зачем. Просто нужно.

Костя ходил каждый день. Приходил в четыре, в рюкзаке у него вечно что-нибудь лежало: блестящая пуговица, магнит от холодильника, детский калейдоскоп. Существо принимало дары так же серьёзно, как он их приносил, рассматривало, ощупывало, потом аккуратно складывало в стопку у стены, и стопка эта росла, как маленькая сокровищница. Слов у него становилось больше. «Снег», «вода», «Костя», «дверь», «Берта», «тихо». Оно произносило их с каждым днём чище, без прежней механической ровности, хотя голос по-прежнему оставался странным: без хрипа, без дыхания, чистый, как у стеклянного колокольчика.

Нину оно пока не называло. Она не торопила.

В среду вечером Нина сидела в предбаннике и чистила картошку на ужин, не замечая, как оно подошло сзади и встало за её плечом. И вдруг раздалось:

— Ни-на.

Нож стукнулся о дно миски.

Она медленно обернулась. Существо стояло в дверях, склонив голову набок, и золотой свет шёл по нему мягкими, спокойными волнами. Створки были открыты, и в тёмных глазах, как показалось, стояло ожидание: правильно ли.

— Правильно, — сказала Нина. Голос её подвёл. — Правильно. Я Нина.

— Ни-на, — повторило оно.

И с этой минуты она перестала называть его Гостем.

Первый мороз ударил в ночь на субботу.

Его предвещали с вечера: небо стало высоким и прозрачным, как вымытое стекло, звёзды висели низко и крупно, а от земли тянуло холодом, острым и сухим, как запах железа. Нина, ложась, подумала про бочку с дождевой водой, про дырявое ведро, про то, что к утру в бане станет тринадцать, а может, и меньше. Ей хотелось встать и проверить. Но усталость, накопившаяся за две недели, навалилась и придавила её к подушке.

Она проснулась от лая.

Это было странно. В полусне она сначала не поняла, что именно её разбудило: просто звук, резкий и хриплый, рвущийся из двора. Потом поняла: не лай. Берта скребла лапой по двери дома и тихо, нетерпеливо поскуливала, как в ту ночь, когда всё началось.

За окном брезжил рассвет, серый и стылый. Нина спустила ноги на холодный пол. Сердце уже билось где-то в горле.

— Что? Что?

Берта метнулась к калитке, потом к бане, потом снова к двери: вперёд и назад, как челнок.

Баня была открыта.

Дверь стояла нараспашку, на белом от инея пороге. Крючок на двери парилки был откинут. Замок висел на своём гвозде под стрехой, целый и нетронутый: накануне, засыпая на ходу, Нина забыла его навесить. Никто не вламывался. Оно вышло само.

Парилка была пуста. Корыто с застывшей водой. Ведро на крюке, в сосульках. Опилки, смятые и вдавленные в форму лежащего тела. Свет не дрожал и не пульсировал. Свет ушёл.

— Нет, — сказала Нина. — Нет-нет-нет.

Она выбежала в огород, прямо в тапочках, накинув пальто на ночную рубашку. Трава хрустела, как стекло. Дыхание вырывалось клубами. Над землёй лежал тонкий розовый туман, и сквозь него торчали чёрные ветки яблонь, схваченные инеем, и всё было неподвижным, хрупким, как на старом фотоснимке.

На земле, среди белой от инея ботвы, шла цепочка следов: узкие, длинные, четырёхпалые, глубоко вдавленные в заиндевевшую землю. Они вели к задней калитке.

Нина побежала.

Он стоял у плетня.

Она увидела его издалека, за десять шагов, и остановилась как вкопанная, потому что поняла: если подойти слишком быстро, он обернётся. А сейчас он не оборачивался.

Он стоял на самом краю огорода, где кончалась земля и начинался лес, у ветхой калитки, давно не открывавшейся, и держался рукой за жердь плетня. Иней оседал на его плечах, на гладкой голове, на тонких пальцах, и не таял, потому что ничто в нём сейчас не грело. Свет под кожей был слабым, дрожащим, едва заметным, как огонёк свечи на сквозняке.

Берта стояла рядом, прижавшись к его ноге.

Он смотрел в лес. Не просто в лес: за деревья, вдаль, туда, где между чёрными стволами едва угадывалась узкая светлая полоса: старая лесная просека, заросшая и забытая.

Нина медленно, как подходят к раненому зверю, пошла вперёд.

— Ни-на, — сказал он, не оборачиваясь. Голос звучал очень тихо. Она не сразу поняла, что в нём изменилось: в нём была тоска. Не слово, не оттенок, а цвет, как у неба перед дождём.

— Я здесь. — Она остановилась в двух шагах. — Пойдём домой. Холодно.

Он не ответил.

И тогда она услышала то, чего не ожидала услышать никогда. Тихий звук. Сначала просто вдох, долгий, с лёгким щелчком, как перед песней. Потом два звука, один за другим: первый низкий и короткий, второй выше, мягко, вопросительно, с лёгким поднимающимся хвостом.

Свист.

У Нины остановилось сердце.

Этот свист она знала. Знала лучше собственного имени. Двадцать восемь лет он жил в этом доме, в этом огороде, в этом лесу. Так Павел звал собаку. Так он звал Нину, когда она ходила за грибами и забредала слишком далеко: два звука, низкий и вверх, и она, где бы ни стояла, поворачивалась и шла на него, как на огонёк. Так он свистел с крыльца, когда ужин был готов. Так он подавал знак из леса, чтобы она не боялась. Так он свистнул ей в последний раз, в то мартовское утро, уходя на обход, из калитки, не оборачиваясь. Она ещё сказала с порога: «Не простудись».

Берта вздрогнула всем телом.

Потом прыгнула вперёд, завертелась на месте, взвизгнула, не по-собачьи, а высоко, по-щенячьи, и вдруг, запрокинув морду к небу, залаяла. Громко, хрипло, взахлёб, как лаяла когда-то на каждого, кто подходил к калитке. Лай катился по заиндевевшему огороду, ударялся о плетень, уходил в лес и возвращался эхом.

Нина опустилась на колени прямо в иней. Она не знала, что падает.

И вспомнила. Всё сразу, как вспоминают во сне: февральский вечер, за полтора месяца до смерти Павла. Он вернулся с обхода поздно, с красным от мороза лицом, снял сапоги, сел за стол и долго молчал, глядя на ходики. Она поставила ему суп. Он не ел. Потом сказал: «Нин, там на дальней просеке что-то есть». Она переспросила: «Что?» Он сказал: «Не знаю. Свет. Не зверь. Не бойся, оно не плохое». И замолчал. А она, усталая, злая от тревоги, сказала то, что говорят все жёны: «Паша, ты к врачу сходи, давление померь». Он усмехнулся. И больше никогда об этом не заговаривал.

Он знал.

Он всё знал, и сказал ей, и она не услышала.

— Откуда ты это знаешь? — прошептала она.

Существо медленно повернуло к ней лицо. Иней осыпался с его плеч тонкой серебряной пылью. В тёмных глазах, раскрытых во всю ширину, стояло то самое внимание, бережное, тихое, обращённое именно на неё, и ещё что-то, что она раньше принимала за любопытство, а теперь, в сером рассветном свете, прочитала правильно.

Жалость.

Оно жалело её.

Оно подняло длинную руку, не приближаясь, не касаясь, и снова, очень тихо, свистнуло. Два звука: вниз и вверх.

А Берта лаяла и лаяла, и в этом лае, в первый раз за полгода, не было ни одной ноты ожидания. Она дождалась.

Часть вторая. Зима

Глава 9. Комиссия

Комиссия приехала в понедельник, в половине одиннадцатого утра, и весь городок знал об этом ещё до того, как колонна свернула с трассы.

В Староречье редко приезжало что-нибудь крупнее почтовой машины, поэтому чёрный джип и белый микроавтобус с белыми штангами на крыше, ползущие по Советской улице в сопровождении участкового УАЗа, собрали вдоль дороги больше зрителей, чем собирал в своё время цирк. Нина видела это из окна процедурной: старики у магазина, продавщица Люда на крыльце, дети, прилипшие к забору школы, Фёдор Ильич, вышедший без палки, чтобы лучше видеть. Колонна прошла мимо амбулатории, не останавливаясь, и повернула к «Лесной», единственной гостинице в городе, которую по такому случаю с утра подметали и проветривали.

— Метеоритчики приехали, — сказала Раиса Павловна, придя на приём. — Говорят, нашу звезду искать будут.

— Давление давайте померим, — ответила Нина.

До обеда она держалась. Вечером ей предстояло увидеть этих людей вблизи.

Первым в амбулаторию пришёл тот, которого Серёжа назвал вежливым.

Он вошёл без пяти двенадцать, постучав в косяк, хотя дверь была открыта: мужчина лет сорока пяти, невысокий, подтянутый, в тёмной куртке нездешнего покроя и в очках в тонкой оправе. Рыжеватая борода, аккуратно подстриженная. Улыбка, которая появлялась на лице заранее, как приготовленная.

— Здравствуйте. Андрей Викторович Лавров, Институт физики атмосферы. — Он положил на стол удостоверение, и Нина, не прикасаясь к нему, увидела печать, фотографию, подпись. Хорошее удостоверение. — Мы проводим в вашем районе обследование после акустического явления. Вы, наверное, слышали.

— Все слышали.

— Да. И это, к счастью, значительно облегчает нашу работу. — Он сел, не дожидаясь приглашения, но так, будто это она его пригласила. — Нина Андреевна, мне говорили, что вы единственный фельдшер на весь город?

— Есть ещё врач.

— Конечно. Ольга Дмитриевна, я уже имел удовольствие. Но вы ведь здесь дольше. — Он оглядел кабинет, шкаф со стеклянными дверцами, кушетку, раковину. Взгляд его задержался на журнале приёма, лежавшем на столе, ровно на секунду. — Меня интересует, не отмечали ли вы в последние три недели необычных обращений. Ожоги. Головные боли. Нарушения сна. Расстройства зрения. Что-нибудь, что выбивалось бы из обычной картины.

— Давление, — сказала Нина. — Сердце. Суставы. Осенью всегда так.

— Давление. — Лавров улыбнулся. — Вечная тема. Вы не поверите, как много замечательных открытий начиналось с того, что кто-то в маленьком городе жаловался на давление.

Она не знала, что на это ответить, и промолчала. Лавров не торопился. Он смотрел на неё внимательно и доброжелательно, и Нина вдруг поняла, что ей не страшно, а неловко, как бывает, когда человек слишком вежлив с тобой, чтобы быть случайным.

— Ещё один вопрос, и я оставлю вас. Ваш муж, Павел Фёдорович, был лесником?

Сердце у неё ударило один раз, тяжело, как в дверь.

— Был. Он умер в марте.

— Мне очень жаль. Соболезную. — Он наклонил голову. — Мы ищем людей, хорошо знающих местность. Особенно дальние участки, за рекой. Он вёл какие-нибудь записи? Обходы, наблюдения?

— Журналы. Их сдали в лесничество.

— Разумеется. — Лавров поднялся. — Мы их запросили. Но иногда люди ведут и личные заметки. Для себя. Вы не находили среди его вещей?

— Нет, — сказала Нина. — Он не любил писать.

Это была ложь, потому что Павел писал всегда: письма Артёму, списки покупок, записки на холодильнике. Но она сказала это ровно, без запинки, и Лавров кивнул так, как кивают, принимая на веру то, что собираются проверить.

— Благодарю вас. Вы очень помогли.

Он вышел. Нина просидела с минуту неподвижно, а потом подошла к раковине и долго мыла руки, хотя они были чистыми.

Да, подумала она. Журнал. Личные заметки. Если они знают, что искать...

Она не знала, существует ли такая тетрадь. Она не знала даже, что хочет, чтобы она существовала. Но теперь эта тетрадь, существующая или нет, стала самым важным предметом на земле, и найти её нужно было раньше, чем найдут они.

В тот день Костя пришёл рано, в четыре, по заднему проходу, как договаривались. Нина была на работе до двух, потом в магазине, потом, на обратном пути, задержалась у Ольги Дмитриевны за каким-то пустяком, поэтому вернулась домой только в шесть. На подходе она увидела чёрный джип, стоявший у обочины, метрах в пятидесяти от её калитки, и рядом с ним двух мужчин.

Второй был старше. Лет пятидесяти пяти, широкоплечий, с короткой седой щетиной и тяжёлым неприветливым лицом. Он держал в руке штангу, похожую на металлоискатель, с маленьким экраном на рукояти. Штанга тихо потрескивала. Лавров стоял рядом, держал планшет.

— Нина Андреевна. — Лавров шагнул навстречу, улыбаясь так, будто ждал именно её. — Мы не ждали вас так рано. Познакомьтесь, мой коллега, Олег Петрович Крупин. Мы обходим дома на Заречной. Это формальность. Измеряем фон.

— На каком основании?

— Добровольно. С согласия хозяев. — Лавров выразительно развёл руками. — Вы же не против?

Крупин уже шёл вдоль забора. Медленно, держа штангу перед собой, как сапёр, и потрескивание становилось то громче, то тише. У калитки Берта, лежавшая на крыльце, встала, и шерсть у неё на загривке поднялась дыбом. Она не лаяла. Она смотрела на Крупина с тяжёлой, сосредоточенной ненавистью, и этот взгляд Нина узнала: так Берта смотрела когда-то на волка.

— Собака у вас серьёзная, — заметил Крупин. Голос у него был низкий и сиплый.

— Старая.

Он прошёл по двору, мимо дровяника, мимо сарая с прикрытой дверью, куда она сунула тачку, и дальше, по тропинке в огород. Лавров остался рядом с Ниной, мягко ведя с ней разговор о погоде, о том, как здесь хорошо дышится, о том, что в Москве такого воздуха нет. Нина отвечала, не слыша ни слова. Она слушала, как за её спиной, в огороде, потрескивание стало частым и злым.

Как у счётчика Гейгера, подумала она. Как у счётчика, который нашёл.

— Андрей Викторович, — сказал Крупин, не повышая голоса. — Тут повышение.

Лавров повернулся. Лицо его не изменилось, только улыбка стала чуть внимательнее.

— Нина Андреевна, что у вас там, в конце участка?

— Баня.

— Топите?

— Электрический радиатор. Спина.

— Позволите взглянуть? Это займёт минуту.

В бане, в этот самый момент, в самой глубине, сидели оно и Костя. Нина знала это так же точно, как знала, что у неё колотится сердце. Она видела перед собой тропинку, дверь, замок, который не стоял на ней, потому что днём она не запирала.

— Баня давно не убиралась, — сказала она, и сама услышала, как фальшиво это прозвучало. — Там бельё. Я бы предпочла...

— Мы не помешаем.

Они шагнули к тропинке. И в этот момент за её спиной, на дороге, взревел знакомый двигатель.

УАЗ остановился у калитки. Хлопнула дверца. Серёжа вышел не спеша, в форме, в фуражке, с папкой под мышкой, и остановился на дороге, не доходя до ворот.

— Добрый вечер, Андрей Викторович, — сказал он. — Олег Петрович.

— Сергей Николаевич. — Лавров слегка поклонился. — Очень кстати. Мы как раз проводим измерения.

— Вижу. — Серёжа посмотрел на штангу в руках Крупина, на Нину, на тропинку. — Вы разрешение на частную территорию имеете?

— Согласие хозяйки.

— Хозяйка согласия не давала, — спокойно сказал Серёжа. — Я стою и слышу. Она сказала: бельё. Значит, неудобно. Значит, нет.

Наступила тишина. Крупин поднял на участкового тяжёлый взгляд, а Серёжа посмотрел на него в ответ: без вызова, просто и долго, как смотрят люди, которые тридцать лет были участковыми в маленьком городе и знают, что их главная власть именно в этом.

— Разумеется, — сказал наконец Лавров, и в голосе его не прозвучало ни тени раздражения. — Сергей Николаевич абсолютно прав. Закон есть закон. Нина Андреевна, примите наши извинения. Мы не хотели вас беспокоить.

Они ушли, Крупин последним, не оборачиваясь. Джип развернулся, фары скользнули по дому и по огороду, по голым яблоням, по тёмной бане, в которой ничего не светилось, и уехали.

Серёжа постоял ещё секунду. Потом сказал, не глядя на Нину:

— Я просто по должности.

— Я знаю.

— Ладно, — сказал он. — Спокойной ночи.

Он сел в УАЗ и уехал. Нина слушала, как затихает мотор, и ей казалось, что она слышит в этом звуке что-то, что не умеет назвать, что-то очень похожее на «я не спрашиваю, но я рядом».

В бане не горело ничего. Ни лампы, ни отсвета, ни золотистой пыльцы по краям двери. Нина вошла, и тьма встретила её тишиной, такой полной, что ей на секунду показалось, что она ошиблась адресом.

Они сидели на полу парилки, плечом к плечу: мальчик в куртке и длинное существо, сложенное втрое. Костя держал обеими руками снежный шар. Существо не светилось. Совсем. Оно лежало в темноте, как кусок остывшей золы, и только по лёгким щелчкам дыхания можно было понять, что оно живо.

— Оно умеет гаснуть, — прошептал Костя. Голос у него дрожал. — Я не знал. Когда они пришли, оно взяло меня за руку и всё выключилось. Как лампочка. Оно... оно нас спрятало.

Нина опустилась рядом с ними на пол. Руки у неё тряслись так, что она не могла застегнуть собственную куртку.

— Спасибо, — сказала она в темноту. — Спасибо тебе.

Потом, медленно, с какой-то древней осторожностью, как раскрывается ночной цветок, свет начал возвращаться. Сначала тонкой полоской вдоль позвоночника. Потом шире. Потом всё теплее, золотистее, пока тесная парилка не наполнилась знакомым мягким сиянием.

Костя выдохнул так, будто не дышал полчаса.

— Бабушка меня убьёт, — сказал он. — Она кричала с шести.

— Беги. Скажи, что у меня засиделся над уроками.

Он убежал, пригнувшись, как всегда. Нина осталась. Она посидела минуту, глядя на то, как из корыта поднимается пар, и сказала:

— Они ищут тебя.

Существо повернуло к ней голову. Глаза-ставни раскрылись и закрылись.

— Они хорошие? — спросила Нина без всякой надежды на ответ.

— Тихо, — сказало оно. Одно слово. Но голос был таким, что она поняла: оно знает про них больше, чем она.

На следующее утро, выходя из дома, она увидела на столбе в конце Заречной, у поворота на Береговую, чёрный ящик размером с кирпич. К нему шёл тонкий провод. Маленький красный огонёк на боку ровно мигал.

Он был повернут в сторону её дома.

Глава 10. Письмо

Комиссия приехала в пятницу, на двух белых микроавтобусах, и Староречье впервые за пять лет увидело сразу столько чужих людей.

Их было семеро. Седой профессор Зубов, громкий, в вязаной шапке с оленями, которого к полудню уже знал весь рынок. Две аспирантки в одинаковых красных куртках. Лысоватый молодой человек с рюкзаком, из которого торчала антенна. Женщина лет сорока пяти, молчаливая, в тёмной городской парке и в мужских часах на тонком запястье. И двое, которых Серёжа назвал в тот вечер «хмурым и вежливым» и которые, как выяснилось, приехали раньше и теперь просто встретили остальных у гостиницы.

Гостиница «Лесная» на девять номеров наполнилась впервые с девяносто восьмого года. Магазин продал за один день недельный запас гречки. Фёдор Ильич Мальцев, которого профессор Зубов записал на диктофон, ходил по городу с таким видом, будто получил орден. Валентина Игнатьевна пустила на постой лысоватого молодого человека, кормила его борщом и потом полдня рассказывала у калитки, что «они там все как дети, ничего не умеют, даже носки себе не выстирать».

Сама же комиссия работала на комбинате.

Нина видела это издалека, с Береговой, когда шла на вызов: по бетонному забору протянулись кабели, на эстакаде стояли треноги, а в лесу за комбинатом, на соснах, поселились маленькие серые коробочки с зелёными огоньками. Аспирантки возили по опилкам что-то вроде детской тележки с круглой антенной. Профессор Зубов ходил по цеху, громко объясняя, что «аномалий такого рода у нас в практике было три за двадцать лет, и все три оказались ничем».

— Они ничего не найдут, — сказал Костя вечером. Он сидел на корточках у корыта и объяснял существу, что такое «приборы». — Они ищут то, что упало. А то, что упало, лежит тут. Они не знают, где искать.

— Костя, тише, — сказала Нина.

— Я тихо.

Она сняла из радио батарейки и положила их в карман, чтобы не пришло в голову включить. Она занавесила окошко парилки плотной тканью. Она велела Косте до отъезда комиссии не приходить, и Костя, к её удивлению, согласился молча, лишь коротко и очень по-взрослому кивнув.

Это было нужно сделать. Но почему-то именно после этого ей стало страшнее всего.

Женщина в мужских часах появилась в амбулатории в субботу, без десяти двенадцать.

Нина уже складывала инструменты. Утро выдалось тихим: двое с давлением, одна с поясницей, Фёдор Ильич с гордой жалобой на «учёных, которые не дали поспать». Она подняла голову на звук открывшейся двери и увидела на пороге ту самую, молчаливую, в парке, с рукой, обмотанной носовым платком.

— Здравствуйте. Мне сказали, здесь можно перевязать.

— Можно. Садитесь.

Нина размотала платок. Порез был глубокий, поперёк указательного пальца, от троса или лебёдки, и уже запёкся. Она промыла его, обработала, наложила шов. Женщина смотрела не на палец, а на Нину, внимательно и без вызова, как смотрят на человека, о котором решили узнать побольше.

— Вы не вздрогнули, — сказала Нина, не поднимая глаз.

— Я не боюсь крови. — Женщина улыбнулась одним уголком рта. — Ирина Сергеевна Воронцова. Старший научный сотрудник. Я из этих, которые мешают вам жить.

— Не мешаете.

— Мешаем. Но вы вежливая.

Нина затянула последний узел. На двери кабинета, прямо над головой Воронцовой, висела табличка, которую она не замечала годами: «Фельдшер Н. А. Лаптева». Воронцова проследила за её взглядом и вдруг сказала совсем другим, осторожным тоном:

— Лаптева. Вы случайно не жена лесника Лаптева? Павла Андреевича?

Нина выпрямилась. Всё внутри у неё сжалось, как сжимается рука, поймавшая падающий предмет.

— Вдова, — сказала она. — Он умер в марте.

— Простите. — Воронцова опустила глаза. Помолчала. Потом достала из кармана парки аккуратно сложенный лист и положила на кушетку между ними, не раскрывая. — Я надеялась с ним поговорить. Он нам писал.

— Кому?

— В Институт. В сентябре прошлого года. Письмо пришло на общий адрес, его прочитал секретарь, подшил в папку, которую у нас называют «письма чудаков». Через полгода я случайно открыла эту папку. — Она говорила ровно, словно читала доклад. — Он писал про световые явления в лесу. Без паники и без выдумок. Очень точно: даты, время, направление. Просил прислать специалиста. Писал, что для людей опасности нет.

Нина слушала и не дышала.

— Я написала ему. На адрес лесничества. Письмо вернулось с пометкой «адресат выбыл». Тогда я уже поняла, что опоздала. — Она наконец подняла глаза. Они у неё были серые, усталые, очень прямые. — Вы мне не поверите, но когда начался этот гул, я просто попросила, чтобы меня включили в комиссию. Остальные приехали за метеоритом. Я приехала за ним.

— За Павлом?

— За его письмом. Там была последняя строка, которую никто не понял. Я тоже не поняла, но запомнила. — Воронцова помолчала. — «Прошу не обижать».

Нина почувствовала, как у неё холодеют ладони.

— Кого?

— Он не написал. — Воронцова слегка пожала плечами. — Я думала, может, лес. Может, зверей. Но почему-то мне не кажется, что речь о зверях.

Тишина стала такой плотной, что слышно было, как за стеной в процедурной капает кран. Нина смотрела на женщину, сидящую на её кушетке, и думала с отчётливостью, которая её удивила: она не лжёт. Она ничего не знает, но хочет знать, и ей, кажется, очень одиноко.

— Он оставил бумаги? — спросила Воронцова тихо. — Записи, дневники. Лесники часто ведут.

Вот оно.

— Нет, — сказала Нина. — Только сапоги.

Это была самая тяжёлая из её недавних лжей: она произнесла её вслух, глядя человеку в глаза, и ей хотелось одновременно провалиться сквозь пол и вернуть слова обратно.

Воронцова кивнула. Она всё поняла, или не поняла ничего, и по её лицу этого нельзя было сказать. Она встала, одёрнула парку, взяла со стола салфетку и написала на ней карандашом цифры.

— Если вдруг вспомните что-то, что говорил ваш муж о лесе. Что угодно, даже мелочь. — Она положила салфетку на стол. — Я не из тех, кто будет вам вредить. Но я одна. Здесь, в этой группе, я одна.

У двери она остановилась и добавила, не оборачиваясь, так тихо, что Нина едва расслышала:

— Он просил прислать одного человека. А нас приехало семеро. И двое из них не мои.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.